

Дисклеймер

Данный текст содержит контент, рожденный в лихорадочных метаниях воспалённого разума автора, зачатый в греховном союзе болезненного чувства собственного превосходства, граничащего с трезвым осознанием личностной ничтожности и интроспекции эмпирических закономерностей собственного онтогенеза, обильно сдобренный старой доброй субъективностью, мнительностью, детскими психотравмами и наследственным алкоголизмом, а потому не следует относиться к нему слишком серьезно и принимать на веру все то, что может вам встретиться на его страницах. Помните, автор не ставит задачу навязать вам какую-либо точку зрения, оскорбить ваше мировоззрение или склонить вас к определенным выводам или действиям. Каждый волен думать своей головой. Все персонажи вымышлены, любые совпадения случайны.

Про Фёдора

Мутным взглядом остекленевших уже порядком глаз Фёдор окинул помещение. Складывалось такое впечатление, что он только что очнулся после некоего подобия транса или гипноза, потому как совершенно не помнил, как сюда пришёл и что здесь делал, словно он только что вынырнул из пунцовой темноты забытья. И вот прямо теперь, в эту секунду, по понятным причинам находился в некоторой растерянности.

Через несколько секунд Фёдор узнал комнату — это была кухня его маленькой хрущевки, оставшейся ему от родителей. Это открытие стало словно толчком в его памяти, и через мгновение осознание действительности нагнало его блуждающее внимание, мгновенно окрасив жизнь серыми, свинцовыми красками собственных воспоминаний.

Он вспомнил, что пьёт. Пьёт уже не первый день. Пьёт горько и в одиночку, даже без какой-либо очевидной причины. Помнил только, что, придя однажды с работы, оглянулся по сторонам, посмотрел в окно, затем заглянул себе в душу...

и запил. И вот уже который день, а может, и неделю. Время проходило так однообразно, что сложно было даже примерно определить его изменение. Казалось лишь, что за окном всегда были сумерки, что так, кажется, было всегда, сколько он себя помнил. И еще давящее чувство необъяснимой тревоги от близящейся ночи, непроглядной и бесконечной, не сулившей ничего хорошего для Федора. Хотя, если поднапрячься, на ум приходили и другие воспоминания. Обрывочные и размытые, как будто ненастоящие, нафантазированные. Там, бывало, чудился залитый солнцем весенний денёк и журчание ручейков меж тающими сугробами, радужные капельки воды, срывающиеся с острия сосуллек на крышах низеньких домов, ясное голубое небо и тёплая рука матери, большая настолько, что могла взять в ладонь, казалось, тебя целиком и отгородить от всех неприятностей мира. Но сейчас в это уже не верилось, все реже вспоминалось и все чаще казалось навеянным сном, дурманом. А вот тревожные сумерки за окном казались самыми настоящими и реальными настолько, что Фёдор мог усомниться в чем угодно, но только не в текущем времени суток за окном. Не помогало даже

понимание того факта, что сумерки не могут длиться двадцать четыре часа, и что, по определению, должно быть и утро, и день, и ночь. Все равно верилось только тому, что виделось, хоть и виделось всегда только то, во что верится.

Фёдор обнаружил, что сидит за столом и в руках держит совдеповских времен артефакт — заляпанный маслянистыми «шпротными» пальцами огранный стакан. Он заглянул в него. На дне сидела маленькая человеческая фигурка, одетая в бархатный изумрудного цвета шутовской наряд в ромбик. На лице — лакированная театральная маска, скрывающая лицо. Что характерно, видом он не походил на веселого и беззлобного скомороха, а скорее на хитрого и подлого Джокера из колоды карт. Фигурка кривлялась, выдавала коленца и крутилась «колесом» как, собственно, и подобает её образу. Фёдор с подозрением глянул на шута. Человек заметил пристальный взгляд несвежего господина, обращенный на него, и произнёс, на удивление ясным и проникновенным баритоном:

— Чего, Федя, глаз наморщил? Или я тебе более не товарищ?

Фёдор не ответил. Он пытался вспомнить, какие отношения могут связывать его с этой жуликоватой личностью. Несомненно, он видел его впервые, и в то же время казалось, что он знал его давно, вот только не помнил. Наверное, с ним он и пил все это время. «Ну... хорошо хоть, что не один», — с облегчением пронеслось у него в голове. Дело тут было в том, что Фёдор, равно как и весь остальной народ, считал, что многодневное, остервенелое злоупотребление алкоголем в компании чем-то качественно отличается от того же занятия, только сольного. Понятно было, что за таким нехитрым самообманом скрывалась возможность поддерживать имидж достойного члена общества, если не в глазах этого самого общества, то, по крайней мере, в своих собственных, при этом продолжая равномерное ускорение в личный ад моральной деградации. Тем не менее в «приличном» обществе по понятным причинам о таком не говорили, а подобных правил строго придерживались, дабы не терять социальные ориентиры. Потому как социальные ориентиры — это наше все. Опять же никто об этом вслух не говорит, но глубоко в душе отлично понимают

все, даже те оголтелые нонконформисты, которые с пеной у рта пытаются доказать обратное.

— Федя, ну ты чего? Давай, расскажи мне ещё немного о своей нелёгкой судьбе и злом роке, который осенил тёмном светом всю твою жизнь, а я тебя пожалею, развлеку, и ты мигом забудешь о проблемах, — лживое, фарфоровое лицо шута смотрело на него со дна стакана.

Фёдор наморщился. Говорить с этим существом не хотелось. От одной мысли желудок сводило, и к горлу подступал ком. Отчего-то он сейчас очень ясно понимал, как сомнительно, а если вдуматься, то просто глупо, звучат его уговоры и обещания. Ясно было, что коварный джокер преследует свои, не совсем понятные, но оттого ещё более мерзкие интересы, которые дурно пахли и грозили Фёдору неясными финансовыми и духовными убытками.

Фёдор отвел глаза, а затем быстрым движением перевернул стакан и поставил его на стол доньшком кверху. Шут по-прежнему оставался внутри. Теперь он барабанил маленькими кулачками в белоснежных перчатках по стеклу, что-то кричал, но из-под стекла доносилась лишь

глухое бормотание, а через некоторое время он упал на колени, начал хвастаться руками за горло и вскоре очень трагично упал и распластался в неестественной театральной позе.

«Ну и ладно», — облегчённо подумал Фёдор. Еще раз оглянув неподвижно застывшую за толстым зеленоватым стеклом фигурку, он поднял глаза и стал пристально разглядывать комнату так, как будто силился распознать, не обнесли ли его скромное жилище подельники джокера, пока он был в пьяном беспомыслии.

«Не пьяное беспомыслие, а пребывание в особом психоэмоциональном состоянии отчуждения собственного сознания, целью которого было стремление с помощью определённых медитативных практик отделить свое внутреннее Я от суеты грешного мира, полного страстей и прочих непотребств», — всплыло в голове у Федора. Это сработала защитная программа мозга, которая заботливо поспешила оградить от неудобоваримой действительности ранимую психику своего хозяина, примерив таким образом собственную самооценку с неопровержимыми фактами и выведя личностный авторитет на уровень, на котором

достигалась хрупкая гармония того самого внутреннего Я с враждебной и не продающей ошибок окружающей средой. Мир вокруг может и не спускал Феде никаких ошибок, а вот он сам себе был и судья, и прокурор в одном лице и потому мог позволить самое гуманное к своему самолюбию отношение. В общем, когда психическое равновесие худо-бедно было восстановлено, Фёдор принялся рассматривать окружающий его интерьер.

Кухонная комната грустно улыбалась Феде из минувших, канувших в бездну, дней советского прошлого. Цветочный орнамент на обоях пестрого некогда цвета производства вологодской обоевой фабрики. Сами обои, местами с отклеенными углами и следами тёмных жирных пятен в районе стола, напоминали о далёких и беззаботных днях Фединогo юношества, когда он, будучи студентом инженерного техникума, забегал домой пообедать и, разглядывая узор на стенах, пытался увидеть в их сплетениях линию своей будущей судьбы.

«Надо же... столько лет прошло, а так и не удосужился новые поклеить», — с тоской подумал Федор, и стало ему отчего-то так стыдно

за упущенную возможность сделать, казалось бы, такую мелочь, которая могла бы подарить ему, возмись он за это, ощущение того, что живёшь ты достойно и по-людски, не хуже других. И пусть даже это будет таким же самообманом, как и все прочее, чем мы пытаемся оправдать свое бездарное существование, бессмысленно тратя дни своей жизни на обустройство воздушных замков у себя в голове, все равно, в конечном итоге, это лучше, чем сокрушаться по поводу отсутствия даже таких попыток вследствие банальной лени и разгильдяйства, прикрытых «высокими» рассуждениями.

«Иногда все же положительное влияние от новых обоев на кухне гораздо превосходит значение всей словесная суеты, которую оставляет человек после себя», — сформулировал вывод Фёдор. И ещё вдруг вспомнил лозунг со старого советского плаката, однажды увиденного им на фотографии в газете, который отчего-то глубоко врезался ему в память, вероятно, из-за простой, но в то же время очень точной формулировки. Он гласил: «Что мы сами сделаем, то у нас и будет. Так мы и будем жить». В общем-то, это была правда. Иногда просто нужно взять и поклеить новые обои

на кухне, нежели пытаться докопаться до какой-нибудь устаревшей истины, похороненной в мутной воде истории, или бесконечно рефлексировать в бесплодных попытках понимания собственного предназначения или какой другой тщеты, популярной у современных людей, на которую они тратят последние психические ресурсы своих душ.

Впрочем, расстраивался Фёдор недолго. «Да чего уж там об обоях говорить, когда такую страну просрали!» — подумал он, махнул рукой и отвернулся. И на удивление ему сразу полегчало. Это была ещё одна любопытная особенность психологии всех Фединых соплеменников. Стоило им претерпеть, как правило, по собственной дурости некоторое фиаско в личном, профессиональном, моральном или, что чаще, финансовом аспекте жизни, то они тут же судорожно начинали искать нечто более страшное и непоправимое обычно планетарного обхвата, на фоне которого их личная промашка выглядела бы пустяковой и как бы меркла и растворялась в водовороте глобальных и мрачных трагедий национального масштаба и желательно являлась бы естественной предтечей

их собственной локальной беды. А потому как сознание советских граждан не может вообразить себе ничего более страшного и непоправимого, чем горькая судьба собственного отечества, а также потому, что судьба эта одновременно являлась отражением участи каждого гражданина его населявшего, то, как правило, эта тематика и являлась своеобразным громоотводом для всех негативных эмоциональных проявлений среднестатистического гражданина. История государства и его нынешние реалии были одним из главных столпов, которые поддерживали на себе так называемую русскую экзистенциальную тоску, не имевшую ничего общего, как можно подумать, с упадническими или депрессивными состояниями отечественной духовности. Нет, русский человек, в общем-то, всегда надеялся только на лучшее, на тот самый уникальный во всех отношениях «авось», который и помогал российскому человеку, словно мистический оберег, не терять надежду даже в самых патовых ситуациях.

Русская тоска — это необъяснимая и неосознаваемая скорбь и не по родине, и тем более не по согражданам, и даже

не по собственной судьбе, а вообще...о высоком, о кажущемся несовершенстве и несправедливости бытия, о невозможности понять мир вокруг и главное — себя самого, свои желания, меняющиеся каждое следующее мгновение на противоположные, о неизбежности смерти и, что еще важнее, забвения. Не то чтобы кто-нибудь всерьез над этим размышлял или мало-мальски мог внятно сформулировать подобные мысли хотя бы для себя самого, но в душе это было у каждого, горело маленьким тусклым огоньком и обжигало всякий раз, когда человек смотрел на березку в чистом поле, на сгорбленную старушку на паперти или на стратегический ракетный комплекс «Искандер». Тут уж у кого как. Что касается Феде, то размышления о своей стране вызывали у него какое-то мазохистское удовольствие, в котором он, впрочем, не признался бы себе даже под страхом смерти. Всегда после эмоциональных или даже оскорбительных отзывов, будь то в сторону правящей партии или населения страны, он чувствовал едва уловимое удовлетворение, хотя оно и было несколько стыдливое и неприличное. Вероятно, что-то похожее чувствует совсем молодой юнец, послушник,

после того как сбежал из уездного прихода, для того чтобы впервые посетить публичный дом. Так или иначе Федя всегда испытывал облегчение после очередного сеанса церемониального жертвоприношения чёрного козла, хоть конечно, оно и оставляло солоноватое послевкусие. Вот и теперь он смирился, таким образом, и с непоклеенными обоями, и с другими упущенными возможностями, беря тем самым взаимы некоторое количество положительной психической энергии у этого мира, для того чтобы протянуть ещё какое-то время, расплачиваясь им с демонами объективной реальности, чтобы те хоть изредка позволяли ему не чувствовать себя дерьмом.

Отвернувшись от стены с потрёпанными обоями, которые внезапно стали для него проекцией его былой молодости, открывшейся ему таким образом из прошлого, и передавшей недвусмысленный привет в день насущный, Фёдор, чтобы отвлечься от дурных воспоминаний, стал рассматривать остальную часть комнаты. Впрочем, взгляд задержать особо было не на чем. Скромный Федин быт не вызывал интереса даже у него самого. Наконец он сумел-таки выделить

среди полумрака кухни небольшой прямоугольный объект, оказавшийся при детальном рассмотрении неважного качества репродукцией картины Пикассо «Девочка на шаре», которой ему расплатился за какое-то одолжение один знакомый карикатурист. Фёдор припомнил, что приятель предлагал ему взять две картины великого художника — второй была «Любительница абсента», но её Фёдор брать не стал, уж слишком эта самая любительница напоминала его самого. Равнодушный к искусству, Федя, в общем-то, первую картину тоже не оценил и лишь неодобрительно крякнул, когда рассматривал и хотел было обменять её на мешок гречневой крупы в ближайшем продуктовом складе, но передумал. А после одной из пьянок все с тем же карикатуристом, разговорившись о предмете, спяну так проникся настроением, что незамедлительно решил повесить её для общего обозрения на кривой гвоздь, торчавший из стены, на котором висел портативный радиоприемник. Он после недолгих колебаний был снят, а через несколько дней обменен на два мешка молодой картошки. Так, эстетические начала в Фединой душе одержали

уверенную победу над пошлыми потребительскими интенциями.

Щурясь и невольно вытягивая шею вперёд, Федор стал рассматривать полотно. Там все казалось было по-прежнему: миниатюрная и хрупкая на вид гимнастка старательно пыталась удержать равновесие на шарообразном снаряде, чуть поодаль от нее на большом кубе сидел довольно крупный мужчина атлетической наружности с такими же грубыми и угловатыми чертами лица и фигуры, как и у ящика, на котором он сидел. Вдруг Фёдор понял, что фигуры на картине словно бы двигаются. Снаряд под девочкой ходил ходуном вправо-влево, а она сама постоянно меняла позу для лучшего баланса, поднимала и опускала руки, наклоняла корпус и то и дело отводила в сторону то одну, то другую ногу. Мужчина сидел почти неподвижно, лишь изредка делая пассы рукой в сторону девочки. Тут Федя догадался, что эти жесты похожи на те, которыми люди обычно сопровождают свою речь и затаив дыхание прислушался. Действительно, герои картины вели неспешную и, видимо, давно начатую беседу.

Сейчас говорил мужчина:

— Вот ты говоришь: люди сильны умом и вроде как, чем больше мы узнаем, тем сильнее становимся. Все вроде так и есть, базара нет, но на деле получается, что все эти яйцеголовые умники — самые жалкие и несчастные люди, и никакой такой силы за ними нет вообще.

— Учёные мужи страдают от своего понимания, дураки же от своего невежества. Умные люди истощены несовершенством мира, прячутся от него в пространстве своего ума и потому не могут жить реальностью. Дураки, овладев миром грубой силой, дуреют, утопая в идиотизме сами и хороня под его толщами последние островки здравого смысла. И те, и другие несчастны. И тем, и другим поэтому мир кажется странным и сложным, где все даётся с трудом, — отвечала девушка на шаре, чеканя слова, при этом даже на секунду не отвлекаясь от своих сложных акробатических манипуляций и не поднимая взгляда в сторону собеседника.

Мужчина в задумчивости закусил губу.

— Не понял... То бишь одни унывают оттого, что лохи по жизни и всю жизнь обречены на высокоинтеллектуальные фрустрации по этому

поводу, которые в реальном жизненном пространстве никому не нужны и ничего не стоят, и дом на них не построишь, и бабу на себе не женишь, а другие — оттого, что поняли, хотя и весь мир держат за яйца, есть такие сферы духовной реальности, куда их тупые хари не пустят ни за какие откаты, и вообще где все их контрольные пакеты акций, облигаций с прочими фьючерсами, которыми подперто их самомнение, — вообще говно полное, и за своих пацанов их внезапно там никто не держит, и до них наконец доходит осознание того, что все это время им только казалось, что они сильно верх ушли от тех первых, но на деле, показатели их индексов куда ниже всех остальных на бирже метафизики бытия. И ещё, полагаю, есть большая прослойка среднего класса между ними, положение которых ещё хуже, потому как являются ни рыбой ни мясом и вообще не вхожи в хоть сколько-нибудь серьёзные материальные или духовные круги и всю жизнь обречены быть на подсосе и там, и там. Все верно? — говорил мужчина уверенно, активно сопровождая свои слова сильной и размашистой жестикуляцией.

Девушка улыбнулась.

— Мы такие, какие мы есть. Разные грани на драгоценном камне под названием жизнь, где недостатки одних граней становятся преимуществом для других и наоборот. Хотя некорректно говорить в этом случае о преимуществах и недостатках, потому как это все очень условно, и правильнее говорить лишь о формах и их объективном соотношении, потому как такой бриллиант невозможно оценить или подвергнуть критике. Даже сама постановка такого вопроса абсурдна и лишена всякого смысла. И дело всего лишь в субъективной перцепции граней относительно друг друга, и даже не их самих, а лишь случайных бликов, лучей света, преломленных между ними, которые и есть наше сознание, проходящее сквозь эти грани по правилам открытых физических законов вселенной, — произнесла она спокойно.

Мужчина минуту думал, затем сплюнул и недовольно сказал:

— Ну, предположим, про лучи понятно, но откуда идут провода к этой бабушкиной хрустальной люстре и что является первоисточником? И каким таким образом эти лучи преломляются так, что на выходе получается — Федя пьёт уже четвёртый

сутки подряд? — при этих словах мужчина, не оборачиваясь, указал рукой за спину, как раз туда, где сидел притаившийся Федор. Фёдор, услышав свое имя, совсем замер и, казалось, даже перестал дышать. Девушка впервые подняла глаза от пола и посмотрела на Федора своими добрыми и хитроватыми глазами. Федя округлил глаза, но не от страха или удивления, а от стыдливого осознания, что его поймали на подслушивании чужих разговоров. От напряжения он весь пошел красными пятнами, а на носу выступила испарина. Уши его горели нестерпимо, и, чтобы сделать хоть что-то в ответ на взгляд гимнастки, он неуклюже кивнул головой в знак приветствия. Комичности этому действию добавил тот факт, что при кивке у него с носа сорвалась большая капля пота и тотчас улетела куда-то в темноту между ногами. Девушка дружелюбно улыбнулась Феде, а затем перевела взгляд на своего собеседника, посерьезнела и ровным, монотонным голосом, стала говорить.

— Издревле людей интересовал источник всего сущего, смысл существования и конечный итог всего. Они пускались во многие размышления и делали самые разные предположения, смотрели

на мир вокруг себя, пытаюсь подметить закономерности, систематизировать и облечь их в понятные, а самое главное — в предсказуемые умом образы и состояния. Попытки эти хоть и были порой интересны и оригинальны, все же находились крайне далеко от истины. Со временем люди поняли: всё, что они придумывают, постепенно устаревает и уже не отвечает тенденциям текущего времени. Новое время приносит новые вопросы, ищет ответы, которые ещё вчера были так убедительны и казались неопровержимыми, а теперь им приходится признавать несостоятельность имеющихся парадигм прошлого. Развиваясь таким образом, понимание человека в какой-то момент либо упиралось в тупик, либо становилось противоречащим само себе и откровенно глупым. Это похоже на то, как если бы женщина в попытках стать всё красивее, будет накладывать на себя косметику слой за слоем до тех пор, пока внезапно не обнаружит, что уже год, как работает клоуном в бродячем цирке. С тех пор как люди стали это замечать, развитие понимания стало иметь циклический характер, оттого что многие начинали думать: именно в прошлом и были уже найдены ответы на все вопросы и устремлялись

туда, проходя весь путь заново. В конце концов, наступил полный хаос и всеобщее непонимание. Люди разочаровались в поиске ответов, потому что ни одна концепция, будь она старая или новая, не могла дать полную картину мира, в то же время оставаясь верной по-своему, хоть порой и давала диаметрально противоположные ответы на одни и те же вопросы. Так, многие перестали искать истину и сосредоточились на своей личной текущей жизни и решении мелких бытовых проблем, остальные же костенели в фанатизме уже имеющихся концепций, пытаясь по возможности залатать или скрыть пробелы их несовершенства, если не для окружающих, то, по крайней мере, для себя самих. В конце концов, это вылилось в масштабную и зачастую кровавую гонку мировоззрений, где каждая группа пыталась доказать превосходство своих идей над чужими. И лишь немногие стали размышлять над тем, почему так происходит. Как получается, что правда и неправда, добро и зло, мудрость и глупость есть буквально повсюду, при этом гармонично сочетаясь друг с другом в каждом суждении, народе или даже в одном, отдельно взятом человеке. Из этого выходило, что такие понятия как добро и зло, например, не были

конкурирующими явлениями, а лишь разными сторонами одной медали. И человек в целом только вот представлял собой уже не медаль, а гораздо более сложную структуру вроде кристалла с гранями, который в свою очередь был частью ещё более внушительной структуры такой, как общество. Ну и так далее, вплоть до самых высших обобщающих понятий. И получалось, что истина, как бы банально это ни звучало, действительно является непредвзятой совокупностью всего, то есть действительно вообще всего, а мы, точнее, наш разум, есть лишь свет, который однажды возник от трения времени-пространства о тот самый кристалл истины и статическим электричеством побежал вперёд по его граням путем наименьшего сопротивления, излучая вспышки, которые, отражаясь и преломляясь тем или иным образом о грани истины, создают мысль, субъективное восприятие этой мысли, личность и все остальное, что наполняет наше бытие. Именно таким образом и получается, что Федя пьёт уже четвёртый сутки, так же, как и происходит все остальное в этом мире.

На этот раз мужчина задумался надолго и даже потер коротко стриженную голову дюжей рукой.

— Релятивизм какой-то. А самое главное непонятно, дальше-то что?

Девушка на шаре вдруг устало наморщила носик и закатила глаза так глубоко, что белки её глаз заблестели в лучах солнца.

— Да ни хера. Как ты не понимаешь, смысл басни таков, что придумать можно что угодно. Каждый живёт в выдуманном мире, в таком, в котором ему больше нравится жить. А объективная картина реальности всегда будет оставаться вне. Это как абстрактное изобразительное искусство, образ которого может иметь тысячи смыслов, при этом оставаясь ничем вообще. И даже те линии и материалы, из которых он состоит на первый взгляд вполне конкретных, на самом деле не имеют ни смысла, ни названия, ни предназначения. Кистью можно водить по холсту, а можно по небу над головой, при этом реальное значение и смысл этих поступков будет одинаковым, — последнее слово девушка произнесла медленно и по слогам, как бы подводя итог по всем разговорам.

— А теперь пойдём отсюда, ноги уже гудят от этого шара. — Она ловко спрыгнула на землю, вытерла рукой пот со лба и вопросительно уставилась на мужчину. Тот кивнул головой, уперся руками в колени, медленно поднялся, и они неспешно двинулись в сторону горизонта.

Фёдор заворуженно смотрел им вслед, до тех пор пока два уменьшающихся силуэта не растаяли вдали между высокими холмами.

Наконец Федя сумел оторвать взгляд от картины. Он посмотрел на свои руки, мозолистые и в трещинах от тяжелой и вредной работы, с толстой прослойкой грязи под ногтями. Затем он плавно перевёл взгляд дальше на стол, грязный и от этого очень липкий, со сколотыми углами и глубокими шрамами ножевых рассечений по всей поверхности. Ему стало грустно и тошно одновременно. Он вдруг осознал, что ему нестерпимо хочется вот так же бросить все и куда-нибудь уйти. И уйти не так, чтобы в гости к соседу или даже отправиться к родственникам в Анапу, а куда-то неизмеримо дальше, туда, где не будет ничего из того, что напомнит ему об этой кухне, этих вечных сумерках его жизни, туда, где не будет даже его самого. И это место должно

быть очень особенным, таким, куда ограниченный и пустой алкоголик Фёдор по каким-то неизвестным ему причинам просто не сможет прорваться, а сможет только та маленькая искра свободы, достоинства и чести, тлеющая внутри него, которая и станет продолжением его жизни в том дивном краю вместе с другими искрами душ, подобных ему. И будет там все по уму и по совести, так как должно быть, как иной раз представляется в неоформленных, интуитивных представлениях, которые возникают порой на секунду в головах каждого из людей, уставших от подлости этого мира и царящего в нем мракобесья.

Через некоторое время острое состояние отчаяния и тоски сменилось ровной меланхолией и безразличием ко всему. Федя повернулся и глянул в окно. Там, как и всегда, стояли мутные и размытые сумерки. Федя хмыкнул и собирался уже отвернуться, но в последний момент краем глаза ухватил маленький клочок серого неба, едва видневшийся между веток рябины, росшей под окном. Ему сразу вспомнились слова девушки с картины, которая утверждала, что нет в этом мире разницы между вещами и состояниями,

и определяем их для себя только мы сами. Робкая, почти неосознаваемая надежда, зародилась в душе Федора. А что если взять кисть ума да и перекрасить всё, что видишь, исправить на то, чего всегда хотел.

— Что мы сами сделаем, то у нас и будет. Так мы и будем жить, — вслух сам себе сказал Фёдор, встал со стула и, пошатываясь, двинулся к окну. Грязные разводы на стекле были похожи на живые лица какой-то невиданной нечисти, которые смотрели на Федора пустыми глазницами, казалось, очень внимательно, сначала с неодобрением, а затем и вовсе с нескрываемой агрессией, как будто чувствовали неявную угрозу от Фединых действий, суливших крахом их существованию. Они страшно корчили гримасы и беззвучно открывали зубастые рты, пытаясь отпугнуть Федора. И хоть они действительно выглядели жутко, Федю они уже не могли испугать. Он знал, что отвернись он от окна, то там, в темноте комнаты, его будут ждать демоны во сто крат ужаснее, самым страшным из которых будет он сам.

Федя уверенно и без сожалений повел ладонью по стеклу, размазывая злые образы по холодной

поверхности стекла. Убедившись, что лица не возникают вновь, он окинул взглядом знакомую с детства панораму. Квартира Федора находилась на втором этаже девятиэтажки, которыми в свое время густо были застроены спальные районы его города. Из окон открывался типичный для провинциального города постсоветский вид. Старенькие, неказистые лавочки перед подъездами и ещё более старые и неказистые бабушки на них. Полуразрушенные игровые площадки, на которых распивали алкогольные напитки подозрительного вида граждане. Неровные ряды разношерстных автомобилей, часть из которых находились тут на вечной стоянке. Хмурые мамы, тащащие за руку упирающихся и плачущих детей, да пьяненькие мужички щуплого вида — работники коммунальных служб. В общем, жизнь. Сейчас, конечно, на улице было совсем безлюдно. При виде родного двора Федя ощутил смешанное чувство уныния и в то же время какого-то ностальгически тёплого чувства привязанности к этому убогому, но все же родному месту. Несмотря ни на что Фёдор оставался патриотом своей страны. И как любой патриот России, очень

хотел отсюда уехать, чтобы гордиться своей страной, так сказать, на безопасном расстоянии.

Федя помотал головой, чтобы стряхнуть с себя это состояние. Необходимо было сосредоточиться. Он поднял взгляд на ровное серое небо, которое казалось нейтральным эмоциональным пространством, если не обращать внимания на все остальное. С минуту он просто пялился в серую гладь без каких-то конкретных мыслей. Оказалось, что он даже примерно не представляет, что нужно было делать. Как вообще было возможно передвигать пласти сознания в голове так, чтобы преобразовывать действительную реальность в желаемую? Так как ни с какими духовными практиками Федя не был знаком, он решил, что стоит просто отдаться потоку свободной мысли и посмотреть, что из этого получится, а дальше уже действовать по ситуации.

Напоследок, мелко перекрестившись, закрыл глаза. К его удивлению, после того как он закрыл глаза, серое небо не исчезло, а просто покрылось сетью мигающих разноцветных звездочек и таких же точно кругов. Это для Феди стало напоминанием о том, что от весомого давления, оказываемого тяжестью реального положения дел,

скрыться не так-то просто и что непреклонное влияние физического мира всегда будет сторожевой стеной, на твердые углы которого будут налетать, как корабли на скалы, любые, чрезмерно смелые и мечтательные порывы ума.

Впрочем, победа над реальностью и была его основной задачей. Поэтому он попробовал вообразить себе, как рвёт собственными руками пепельную простыню перед глазами и устремляется сквозь нее в не успевшую толком ещё сформироваться фантазию. Вначале там не оказалось ничего кроме яркого, заливающего глаза света. Но понемногу он стал рассеиваться, и вот Федя уже видит помещение, которое секундой позже было опознано, как мясомолочный магазин, в который Фёдор любил захаживать в те дни, когда деньги после зарплаты, аккуратно сложенные в карманах брюк, начинали нестерпимо обжигать ему ляжки. Вот он видел самого себя в дорогом кожаном плаще, уверенным жестом открывающим большое портмоне и подобострастно улыбающуюся продавщицу Клаву, которая на вытянутых руках несла ему палку самой дорогой в магазине сырокопченой колбасы.

— Тьфу ты! — Фёдор открыл глаза и в сердцах сплюнул на пол. Было горько осознавать, что самые сокровенные стремления его души были направлены в сторону собственного самодовольства, и даже оно было настолько мелким и приземленным, что не распространялось дальше ближайшей от Фединога дома гастрономической лавки. Скудность собственных помышлений поразила его так, что во избежание ещё больших разочарований он даже не решился попробовать ещё раз.

«Как же так?» — думал он, — в какой момент жизни я стал таким человеком, для которого палка сервелата стала символом достойной и счастливой жизни? Ведь так было не всегда..." — тут Фёдору вспомнились молодые годы, когда все его мысли и действия что-то значили, имели силу и направление, а не бессмысленно рассеивались, словно табачный дым в окружающем пространстве, как было сейчас. Когда мимолетная заинтересованность могла служить сигналом к незамедлительному действию и вера в то, что ты делаешь что-то важное и нужное не давала свернуть на полпути. Когда утром ты просыпался действительно сильным и отдохнувшим,

и не было мысли о том, «как протянуть до вечера». И все виделось по-другому, виделось, как ледяная корочка блестит на сугробе в солнечных лучах, как темнеет асфальт во время дождя, как уходит поле далеко вперёд и упирается там в густой лес, и все это действительно казалось важным, эмоционально переживалось, зарождая в душе густую основу, из которой формировалось особое мировоззрение и виденье жизни. Неизвестное не тяготило разум, а казалось захватывающим. И ответы нужны были не так, чтобы зачем-то, скорее, ради интереса, и все вокруг казалось игрой, от которой нельзя было ожидать ничего дурного. И в каждом восходе солнца мерещилось обнадеживающее послание, которое передаёт вселенная лично тебе, подмигивая и улыбаясь твоей судьбе.

А потом Фёдор подумал о том, что, в сущности, ничего из этого не исчезло и не пропало, просто думается и представляется теперь совсем по-другому. Запуганное и подавленное сознание коверкает и фильтрует все сенсорные сигналы, поступающие из мира, в глупой надежде избежать или хотя бы подготовить себя к боли и разочарованиям. Наверное, потому человек

не столько ищет счастья в этом мире, сколько всеми силами старается избежать несчастья. И поэтому, вероятно, возвращение к статусу кво и считается для многих понятием тождественным счастью или, по крайней мере, довольством жизни, что опять же для большинства одно и то же. Хотя кто сможет в этом разобраться? Все одно и все разное, как ни посмотри. И хоть как посмотри, все одно. И палка колбасы или обои на кухне есть великое счастье и великое достижение, иной раз которого не могут достигнуть для себя и самые великие люди, вершители судеб и ваятели будущего. И однажды человек все же сможет разгадать эту великую тайну мультivoзможности бытия, и тогда все изменится, а пока Феде и подобным ему остаётся только интуитивно пользоваться этой необыкновенной возможностью настолько, насколько это будет получаться, и надеяться, что вселенная все же улыбнется тебе.

Федя поднял голову и посмотрел на восток, туда, где имел обыкновение зарождаться новый день. «Можно, конечно, ждать, а можно создать её самому или, по крайней мере, убедить себя в том, что она улыбается или же вообще

улыбнуться ей самому». И он действительно взял и заулыбался черноте вдалеке вначале наигранно, но затем вполне искренне. То, что он делал, вновь стало похоже на игру, совсем как в молодости. Ему стало легко и весело.

И тут он увидел, как мгла над горизонтом, куда он смотрел, стала быстро, как на юге отступить, и вот уже края горизонта окрасились оранжевым цветом, а ещё через минуту показалась ярко-желтая верхушка солнечного диска, неправдоподобно большая и словно бы пульсирующая, с каждым импульсом отправляя Феде и всему вокруг дозу позитивной жизнеутверждающей энергии. Фёдор глядел на это как замороженный, а затем в восхищении вскинул руки и захохотал. Он смеялся и не мог остановиться.

Невообразимое чувство радости охватило все его естество, которое невозможно было контролировать, да и незачем, ведь этому чувству хотелось отдаться без остатка. Сквозь слезы и спазмы в животе Фёдор открыл окно и стал нарочито широко улыбаться солнцу и выкрикивать приветственные фразы, которые звонко отдавалось эхом по всему ещё спящему

двору. Через какое-то время чувство эйфории достигло таких пределов, что Федя уже почти ничего не различал вокруг, весь мир для него был залит радужно переливающимся светом, которым был ничем и всем одновременно. Лишь изредка до него долетали непонятные ударного характера звуки из ниоткуда, а затем, как во сне или в фантастическом кино, мелькали силуэты каких-то людей, обрывки разговоров, которые изредка доносились сквозь льющийся в уши благодатный свет.

— Да, пятьдесят шестая, точно... белая горячка...состояние тяжелое...высылайте машину, будем оформлять.

Но для Феди эти слова ничего уже не значили, равно как и все остальное в этом мире, и сам мир, и даже понятие о нем. Он был очень далеко от всего этого и с каждой секундой становился все дальше, уносимый потоками света в бесконечное путешествие. Он теперь и сам был этим светом, слившись с ним воедино, оставив ограниченного и пустого алкоголика Федора позади себя тусклой вспышкой, обликом в пустоту вечности, отраженным от безупречных граней великого драгоценного кристалла жизни.

Про Семёна

Семён сидел на жёстких деревянных досках летнего нужника и вот уже не менее получаса сосредоточенно вглядывался в щербинки и трещины на высохшей, а кое-где уже откровенно трухлявой двери, которая в этот момент служила последним рубежом, отделявшим тонкую душевную организацию Семёна от нетерпимости и невежества внешнего мира. Конечно, душевная организация младшего зоотехника-пчеловода Семёна Бегункова не была такой уж тонкой, как он сам о ней думал. Впрочем, в совхозе репутация у него была человека толкового, хотя и чудаковатого. Все оттого, что Семён любил размышлять о таких вещах, о которых другие мужики не задумывались даже и на смертном одре. Есть ли жизнь после смерти? Можно ли корову обучить букварю и повлияет ли такая ученость на удои? И другие.

Народ над ним посмеивался хоть и беззлобно, но Семён все равно нередко обижался и в душе клялся жестоко отомстить обидчикам, но вскоре забывался, потому что голову его занимали всё новые вопросы мироздания, на которые ему ещё

только предстояло найти ответы, как он думал, для общего блага всего человечества. По такому случаю ему нередко снились сны подобного толка: благодарные потомки из далекого будущего в разное время то силой мысли, то силой технического прогресса поднимали бездыханное, почему-то не разложившееся за многие века тело Семена из могилы. Они выражали благодарность от имени всего межгалактического коммунистического общества (то, что общество в будущем будет именно таким, у Семена не вызывало никаких сомнений) за все его идеи, благодаря которым стало возможно разрешить все самые главные вопросы вселенной, объединить весь мир под знамена Советов и направить блестящий космолет новой ментальной формации «интеллектус коммунизмус» (название «разум коммунизма» Семён отмечал особо и втайне гордился им, а налет латыни добавил для статуса, иронии же в таком названии не замечал вовсе) в светлые и счастливые для всех людей времена. Затем виделся ему парад в его честь, как подходят к нему разные видные деятели науки и политики разных времен, таким же образом вернувшиеся к жизни, и горячо жмут руку, хлопают по плечу и искренне благодарят за все. Среди них были

Карл Маркс и Фридрих Энгельс, товарищ Сталин, Надежда Крупская отчего-то без супруга, Менделеев и Ломоносов, профессор Мечников, Капица и Кулибин и многие другие. Особняком держался Дмитрий Донской — любимый исторический персонаж Семена — в доспехах и на коне, в одной руке он держал икону с собственным ликом, а другой радостно махал Семену и что-то говорил даже, но было не слышно. Позже ему торжественно вручался орден за заслуги перед человечеством первой, обязательно, степени и затем под гул троекратного «ура» обыкновенно Семён просыпался. И верилось тогда ему, что всенепременно так оно и случится, нужно лишь держаться выбранного курса, как бы не было трудно порой, и на какое бы глухое непонимание в лице односельчан он не натыкался.

Вот и сейчас он всматривался в узоры, оставленные на дереве паразитами, и находил в этом зрелище необычайную схожесть с изгибами извилин человеческого мозга, который он третьего дня видел на плакате в кабинете фельдшера.

«И отчего только в мире одно подобно другому?» — думал Семён и поднимал

многозначительный взгляд наверх, к маленькому запотевшему окошку, служившему единственным источником освещения сего отхожего места. Ум младшего зоотехника в такие минуты сразу наполнялся высокими образами, которые странным, похожим на танец образом сообщались друг с другом, формируя элегантную мысль, которая, бурно развиваясь, достигала апогея зрелости, а затем степенно и с достоинством откладывалась в качестве незыблемого, как сама земля, факта мудрости в голове Семёна.

И вот что получалось:

«Вот бабы, например, вроде бы все разные, но на деле все равно — все одинаковые», — думал он.

В какой момент ум Семёна перешёл от сравнения человеческого мозга с деревянной поверхностью, изрытой личинками, к сравнению женского пола относительно друг друга, отследить категорически невозможно, равно как с трудом можно уловить связь одного с другим, но для Семёна подобные завихрения мысли были в порядке вещей, и он даже не обращал на это внимания.

«С другой стороны, хоть и одинаковые, но все одинаковы по-разному», — Семён даже закивал головой, явно соглашаясь с этим утверждением, и припомнил, как мужики на работе жалуются на своих жен. И хотя все сетовали на одно и то же, в сущности, история у каждого была своя. Тут же на ум пришла его Нинка, которая тоже не отставала в этом вопросе от других баб. Семён тотчас помрачнел.

«И чего ей не хватает только? Ей бы радоваться, что ей такой умный и проницательный мужик достался!» — подумал он и почесал у себя пониже спины. Тем не менее философский настрой Семёна был крайне чувствителен к пошлым материально-житейским сентенциям и как-то сразу хирел на их фоне, поэтому он быстро испарился, видимо, до лучших времен.

Семён вздохнул, наскоро закончил ритуал облегчения и через минуту был уже во дворе дома. Ласковое летнее солнышко приятно припекало ему затылок, вокруг пели ласточки, и на душе снова полегчало. Он решил никуда не торопиться, хоть и знал, что время к обеду, и Нина будет ругаться, если он опоздает, но очень хотелось присесть на скамеечку в тени мушмулы, выкурить

папироску. Было ещё время до дел насущных, и хотелось насладиться погожим деньком, раз уж выдалась такая возможность. Запах сигаретного дыма смешивался с запахом свежескошенной травы и приятно щекотал ноздри. В голову опять полезли те же мысли.

«И отчего только проклятая дура его не понимает? Ну что ему до покосившегося забора или засора в дымной трубе, когда в мире столько всего интересного и неизведанного»? Ему сразу вспомнились рассказы о далёких и диких странах, про которые рассказывал однажды за бутылкой приезжий учитель географии. Славный разговор у них тогда вышел, редко когда Семёну удаётся найти себе равного собеседника, которого можно посвятить во все свои размышления без страха оказаться непонятым. Правда, под вечер оба напились, разошлись во мнениях по какому-то вопросу, о котором теперь уже и не вспомнить, повздорили, и Семён набил географу морду — за сим и распрощались. Семён заулыбался, вспоминая тот случай. Было приятно вспоминать, что он смог отстоять свои интересы. Его не смущало то, что он даже примерно не помнил,

какие интересы столь яростно отстаивал в тот памятный вечер.

Вдруг ставни окон распахнулись, и в проеме появился до боли знакомый торс в помятом фартуке.

— Ну чего расселся-то? Чего? Обед уж стынет, давай иди скорее. Тебе сегодня ещё порося резать, не забыл? Шевелись давай, кому говорю?!

Щеки Нины пылали, а в глазах читалось такое неподдельное чувство снисхождения, как будто она и впрямь разговаривала с умалишенным. Не дожидаясь ответа, она исчезла в проеме, щелкнув на прощание ставнями.

Хорошее настроение как рукой сняло. Он вспомнил о нелёгкой участи поросенка Васьки, которая ждала его сегодня к вечеру. «И неужто никому, кроме меня, дела нет до бедной животины?»

Семену казалось, что он один ещё сохранил на всем белом свете такие качества, как уважение и милосердие. Какие же разные они все-таки были с Ниной, её мамой и всей остальной её оголтелой родней. Думалось ему, что

мировосприятие его было ближе к поросенку Васе, чем к собственной жене, в том смысле, что поросенок Вася, даже будь у него такая возможность, ни за что бы не стал резать Семена, даже, вероятно, из крайней нужды, чего он не мог бы сказать о Нине при всем желании. Размышляя о понятии мировосприятия, Семён невольно вспомнил случай, который произошёл на той неделе: два мужика, что работали в столярной мастерской, поспорили о том, кто сможет выпить до литра самогона. Выпить-то, конечно, смогли оба, да только один весь вечер потом под гармонь плясал, а второго через пяток минут под руки увели спать, а когда на утро спохватились его, так он уж холодный был.

«Да уж! — Семён в сердцах закусил губу. — Вот тебе и разное мировосприятие».

Из избы снова послышалась глухая ругань, на что Семён сплюнул под ноги, поднялся со скамейки и пошёл в дом обедать.

Поросенок Васька смотрел на него пристально и, как показалось Семену, немного грустно. Сам же он стоял напротив, в нерешительности мялся

с ноги на ногу и оттого чувствовал себя глупо и неловко.

Так прошло какое-то время. Осознавая нелепость ситуации, Семён вздохнул, подошёл к поросенку, сел рядом и по-дружески обхватил его за толстую шею. «Ты прости меня, брат, тебе бы жить ещё и жить, но вот кто-то решил, что настал твой черед того, — при этом Семен сделал характерный жест ребром ладони по горлу. — Вот видишь в каком мире живём, брат, что и помирать по расписанию теперь». Он несколько секунд помолчал, оглядывая хлев, грязную солому на полу, байду с остатками каких-то помоев, и кучи свиных испражнений — вот так Васька и прожил свою жизнь. И только лишь раз ему удалось глотнуть свободы, когда Нинка забыла запереть сарай, и он сбежал на огород, бегал по картофельному полю, ел капусту с грядок и гонял кур по двору — то был недолгий момент счастья, а так в общем-то ничего, кроме этого, и вспомнить нечего.

Семену вдруг стало невыносимо жалко Ваську, да так, что захотелось отпустить его прямо сейчас на волю, вывести на задворки села и пустить его прочь — пусть спешит жить. Но через секунду

уже одумался, поднялся на ноги, отряхнулся и сказал: «Ну ладно, чего тянуть, перед смертью все одно — не надышишься». Подошёл к столу, взял большой нож и двинулся в сторону свиньи. Васька, до этого момента никак не реагирующий на действия хозяина и спокойно продолжавший ковырять пяточком пол, вдруг насторожился, поднял голову и обреченно взглянул на Семёна, как показалось ему, немного грустно.

День уже клонился к закату, когда Семён вышел из хлева, устало облокотился на ворота и закурил. Точнее, хотел закурить, но руки его не слушались, из-за чего все никак не удавалось поджечь папиросу. Наконец он выругался, трясущимися руками кое-как убрал курево в карман и горько разрыдался, не в силах уже сдерживать накопившиеся чувства. Он плакал, и слезы его смешивались со свиной кровью на щеках, текли по бороде, прямо на рубаху. Плакал он от жалости — ему было жалко Ваську, ему было жаль, что пришлось убить своего друга, но пуще этого ему было жалко самого себя.

Жалко, что жена его не ценит и не любит. Жалко, что никто не воспринимает его всерьёз, жалко, что он никогда не побывает в тех странах, о которых

говорил ему окаянный географ. И самое обидное и горькое заключалось в том, что, по сути, жизнь его ничем не отличается от жизни убиенного Васьки, и придет час, когда его ждёт такая же бесславная участь.

Семён было ещё поплакал, но вскоре устыдился своих слез, велел себе не раскисать и мало-помалу успокоился. Уже уверенно закурил сигарку, теперь стоял, смолил, время от времени отгоняя от себя назойливых мух, которые в большом количестве витали вокруг него, что было первым признаком, что у Семёна повышен уровень сахара в крови, и начинался диабет, от которого впоследствии, не пройдет и полугода, как Семён умрёт.

Докурив, он по обыкновению смачно сплюнул под ноги, растер сапогом, а потом сделал то, что поросенку Ваське по природе своей, было не под силу — поднял голову и посмотрел на небо.

Оно начинало уже темнеть, и кое-где уже виднелись первые звезды. Тут ему привиделось, что одна звёздочка вдруг поплыла по небу, оставляя за собой шлейф, похоже, как теплоход оставляет на воде. И представил Семён, что это

тот самый космолет «Интеллектус Коммунизмус», который мчит сейчас по каким-то очень важным государственным делам, но затем обязательно по возвращении заглянет и к нему — Семену Бегункову. То ли ещё будет...

Семён сплюнул, сунул руки в карманы брюк и поспешил домой, Нина нынче к ужину будет подавать мясо.

6 марта

Предисловие

Как бы нам ни хотелось обратного, но вселенная, а может, только тот ее аспект, который мы называем жизнью устроена по вполне очевидным и отслеживаемым закономерностям. А жизнь понимается в самом широком всеобъемлющем смысле, включающем в себя все ее ипостаси, смыслы и проявления и любые другие метафоры, формулировки и словесные конструкции, формулы и чертежи, которые так старательно выводит у себя в голове человек, пытаясь отчасти объяснить эту самую непонятную жизнь самому себе. И более того человек старается выменять слепки собственных нейронных треков по этому поводу у окружающих, выручив за это немного ментального «сахарку», благодаря которому можно будет отвлечься на время от этих самых извечных вопросов и не испытывать экзистенциального ужаса, рассматривая в зеркале лысеющую голову или замечая с каждым днем все более глубокие морщины

на некогда юном личике и другие признаки приближающегося забвения. А развитие закономерностей подразумевает определенную последовательность любого механического движения, будь оно абстрактного или вполне материального происхождения и диктует такому действию завершённый скрипт, по схеме которого все строго свершается, привнося определенное количество предопределенности в бытие, даруя новую пищу для ума всем фаталистам и прочим пессимистам.

Один из таких скриптов велит любому процессу иметь последовательность и совершается в строгом порядке, где оно имеет начало, развитие, кульминацию, затухание и конец. Эта особенность бытия, как и многие другие, тесно сопрягается с причинно-следственной связью, но не является один и тем же. Примеры этого фундаментального закона нашей вселенной можно увидеть повсюду в повседневной жизни, но особенно остро они воспринимаются человеческими сердцами, когда примеры касаются самых главных струн их души, а точнее, головы, а еще точнее, их собственных фундаментальных скриптов, хранящихся в матрице нервной

системы. Так, например, уже отчасти упомянутый цикл рождение-взросление-старение-смерть, который по сугубо прагматическим и рациональным причинам является шаблоном как для отдельно взятого существа, так и для всей популяции в целом, есть один из самых сильных стимулов для раздражения самого широкого эмоционального спектра, на которое живое существо возможно в принципе. Особенно это касается человека как самого психически развитого существа из известных на земле. А потому человеческое существо очень остро переживает не только действие этого скрипта непосредственно на себе, как на личную совокупность экстраполированных движений бытийной механики, а на все, даже отдаленно напоминающие об этих личных движениях и не связанные с ними напрямую, казалось бы, вещами, событиями и явлениями.

Из этого наблюдения можно сделать немало интересных выводов, но самый основной из них состоит в том, что ментальные программы, колдовским способом перенесенные в астрал путем химических и электрических взаимодействий элементов периодической

системы, отождествляют чужие — идентичные, переставая отличать одно от другого, впоследствии замещая их собой и наоборот. Теоретически можно представить, что таким же образом возможно проецирование всех личностных скриптов на реальность, превращающих мир вокруг в одно большое упоминание о себе самом, обо всех чувствах и эмоциях, что нас наполняют, что, конечно, и есть в итоге — наша личность и наше я. Без всяких сомнений, так оно и происходит. И получается, что жизнь человека, по большей части есть не что иное, как разглядывание копий себя самого под разными углами, в разных проекциях, временных отрезках и возможных вероятностях. В конце концов, в каждом объекте во вселенной мы видим и узнаем лишь себя, а затем громко смеемся от гордости, а что чаще происходит, горько плачем от обиды, неизменно по одному и тому же поводу — быстротечности и ничтожности нашей жизни в отношении холодного к мольбам, всеобъемлющего безвременья, растворяющего в себе наши личности, опыт и память о нас, в итоге сводя к полному абсурду наше бывшее уже однажды существование. Но так будет только до тех пор,

пока не настанет рассвет нового дня, лучи которого высветят уже другие скрипты наших душ и уже они станут приоритетными в новом цикле и отныне будут определять те скрипты из биологического списка, алгоритмы которых определяют вашу жизнь, создавая, по сути, новое Я. И как бы нам ни хотелось обратного, но вселенная функционирует именно так. И нет ровным счетом никаких причин унывать по этому поводу, как, в общем-то, и по любому другому, коих ты не в силах изменить, а можешь лишь осознать и принять как данность.

6 марта

Надежда Константиновна Нарышкина в молодости была человеком, как это принято говорить, с активной жизненной позицией, ударница труда, пламенная коммунистка, партбилет которой всю жизнь лежал в нагрудном кармане слева, около сердца, что однозначно было символично.

Ныне же Надежда Константиновна — тихая пенсионерка, сторбленная от артрита, который заработала тем, что, несмотря уже на почтенный

возраст, все военные годы не покладая рук по четырнадцать часов трудились на заводе укладчицей чугунных труб на благо той самой победы, что одна на всех. Победа Надежде Константиновне, действительно, далась, как, впрочем, и всем остальным, очень дорогой ценой. На фронте погиб ее единственный сын Алеша, после чего она осталась совсем одна. Муж ее, Нарышкин Семен Андреевич, за несколько лет до войны по доносу был отправлен в ссылку, где и сгинул. Если бы не железный характер и непоколебимая вера в непогрешимость правящей верхушки партии и святость единственно верного политического курса, по которому двигается страна, сдало бы, наверное, мягкое женское сердце. Но со свойственной многим советским людям жертвенностью она смиренно приняла для себя смерть мужа и сына как необходимую для благополучия советов и всего мира цену. Она часто говорила о том, что «с лихвой отдала все долги отечеству и совести, что и на десятерых бы хватило». Потому старость Надежда Константиновна проживала одинокую, но спокойную, лишённую тягостных, дostoевских размышлений, обращенных вслед минувшим дням.

Но сегодня, с самого утра, сердце старушки то и дело замирало от внезапных приступов необъяснимой тревоги, а на душе было тяжело и тоскливо, несмотря на ясный мартовский денек. Конечно, у любого человека, в особенности у пожилых и одиноких, бывают дни беспричинной меланхолии, которые, словно приступ мигрени, просто нужно перетерпеть. Но то состояние духа, которое одолевало сегодня Надежду Константиновну, никак не походило на обычную бархатную хандру или обывательское уныние, а скорее напоминало паническую атаку. Но не на такой блицкриг, как чаще проявляется это острое по своей сути состояние, а на блокаду — медленное и верное продвижение за счет истощения психических оборонных ресурсов Надежды Константиновны. Осажденная таким образом душа задыхалась в неумолимо стягиваемой петле отчаяния и безнадёги. Временами ощущение усиливалось до состояния мировой скорби, и тогда лицо старушки бледнело, и она целую минуту не имела возможности вздохнуть.

Надежда Константиновна тщетно пыталась понять, что именно могло ее так взволновать. Она

оглядывалась по сторонам, пытаясь обнаружить неявную угрозу, которая могла стать причиной подобной тревоги, но обстановка в электричке, которая, как и прежде, везла ее с дачи обратно в город, не предвещала ничего дурного — вагон был равномерно укомплектован сплошь знакомыми лицами, такими же точно пенсионерами, как и сама Надежда Константиновна. Интенсивность ощущений не позволяла предположить предчувствие неприятности, вроде незапертой двери или невыключенной плитки. Все эти мелочи меркли перед неявной причиной, которая заставляла Надежду Константиновну мелко дрожать, а взгляд стекленеть, словно у покойника. Да укради у нее все, что есть или сожги все ее имущество, — так Надежда Константиновна только бы вздохнула с облегчением, узнав, что такие переживания случились с ней из-за каких-то пустяков. Нет, тут было что-то другое. Так замирает душа в ожидании утраты, настолько большой и непереносимой, что вместе с ней уходят, а точнее, перестают быть последние и без того неубедительные причины для жизни. И это было для Надежды Константиновны удивительно, потому что она считала, что две самые большие

утраты уже пережила и терять ей теперь особо нечего.

«Наверное, помру сегодня в ночь», — решила старушка, но тут же подумала о том, что собственное исчезновение с радаров бытия совершенно ее не трогает, и нет никаких причин так переживать и драматизировать это, в сущности, непримечательное и давно ожидаемое событие. А значит, дело было в другом — беда грозила существованию чего-то или кого-то гораздо более важного и ценного, нежели ее, Надежды Константиновны, скромная особа.

Поезд вез старушку до места назначения, ритмично отстукивая колесными парами, прощаясь таким образом с каждым рельсом, остающимся позади. Ровный стук железа о железо походил на биение огромного сердца этой, словно бы живой, машины и действовал умиротворяюще, синхронизируя пульс старушки со своим собственным. Понемногу оцепенение отступило, оставив после себя тяжелое онемение, словно Надежду Константиновну укололи анестетиком прямо в душу. Но все равно стало легче.

До сих пор взгляд её, то бессмысленно блуждающий, то неподвижно сконцентрированный на выщербленной поверхности впереди стоящего сидения, вновь стал подчиняться воле и вниманию Надежды Константиновны, которая с большим облегчением перевела его за ту сторону толстого и пыльного окна, где весело поблескивал на солнце уже начавший таяние снег, обильно покрывавший местность — все знакомые с давних пор места. Удивительно, но сотню раз мелькавшие перед глазами пейзажи сейчас представлялись Надежде Константиновне совершенно иначе. Каждое одиноко стоящее дерево, проплывающее мимо, вызывало щемящие душу воспоминания из детства, когда она, еще совершенно юное создание, по имени Надюша, беззаботно и самозабвенно лазает по точно такому же дереву, росшему на задворках бабушкиного дома. Какой ловкой она была! Могла бы стать выдающейся спортсменкой. Медленно бредущий вдоль рельсов работник железной дороги становился копией отца, который, как ей казалось, вот так же, усталый, приходил домой, усаживался на табурет перед окном и выкуривал папиросу, держа ее маслянистыми, черными от мазута огрубелыми

пальцами. Как он был в молодости похож на ее сына Алешу. Затем Надежда Константиновна видела в мелькавших мимо придорожных кустах прячущихся в них карапузов — да это же ее внуки: белокурая девчушка вся в нее и мальчик, очень похожий на Алешу. Стойте, так это он и есть. А вот рядом — молодая, уверенная в себе Надежда Константиновна и муж ее, Семен, статный, перспективный мужчина. В первом совместном отпуске.

Старушка отводит взгляд от окна и видит, как на противоположных сидениях сидят ее муж и сын точно такие, какими она их видела в последний раз. Они смотрят на Надежду Константиновну грустно и, как будто извиняясь, улыбаются. Тут Надежда Константиновна стала видеть себя как будто со стороны. Лицо ее старое и сморщенное — смотреть противно, — а глаза непонимающе мечутся от одного родного ее сердцу мужчине к другому. Оба выглядят печальными и встревоженными, но явно не от того, что предвидели свою лихую судьбу, а по другой причине. Переживали они не за себя, а скорее за нее, Надежду Константиновну. Знали,

что вскоре ей предстоит что-то пережить. На глазах старушки наворачиваются мутные слезы — она с мольбой смотрит на родных, пытаюсь разглядеть в их серых, словно на давнишних фотографиях, лицах ответ или хотя бы намек на то, чего ей следует ждать и как можно к этому подготовиться. Но через секунду уже не может отличить их друг от друга — лица становятся незнакомыми, усредненными, начинают напоминать всех сразу. То видится первая учительница — Зоя Федоровна, погибшая в осажденном Ленинграде, до последнего исполнив учительский долг, то интеллигентное лицо кондуктора Евгения, жившего по соседству, который неизменно в течение многих лет здоровался и справлялся о здоровье Надежды Константиновны и, как ей казалось, втайне был влюблен в нее. И многие другие, давно забытые лица на секунду промелькнули перед ее глазами. Она видела не только их самих, но и как бы читала их мысли о себе самой: о том, что думали о ней и как воспринимали ее все эти люди, какой, по их мнению, жизнью она жила и чего бы могла добиться или как должна была закончиться её жизнь. Все эти суждения имели очень острый и интенсивный характер, как будто размышления

о личности Надежды Константиновны занимали весомую долю всех мыслительных процессов, происходящих у этих людей в течение всей жизни.

Это было очень странно. Не успела Надежда Константиновна задуматься об этом, как видение вдруг прекратилось, и призрачные лица с фотографий окончательно воплотились в физиономии двух похмельных на вид рыбаков, изначально сидевших в противоположном ряду, напротив старушки.

Надежда Константиновна прикрыла глаза. Через веки бил яркий солнечный свет, в котором, казалось, растворились все эти непонятные для нее образы и значения, которые они в себе несли. И воспоминания после стольких лет и на исходе дней не имели теперь уже никакого смысла. Ведь все это было так давно, что любой след о тех событиях уже стерся с лица земли и не влиял больше ни на что на этом свете. И лишь она одна еще оставалась живым памятником тому времени, которого по реалиям текущего момента, можно сказать, никогда не существовало. Просто потому, что никак нельзя было доказать то, что оно когда-то было, и не просто было, а являлось таким же важным и знаковым в глазах тех людей, как день

сегодняшний. Люди переживали каждый момент, трепетали перед будущим, делая следующий шаг в его сторону, всей душой надеясь его вскоре увидеть. Но в итоге видели лишь настоящее, которое для большинства стало лишь мутным зеркалом, отражавшим их прошлое, возможно, так никогда и не существовавшее на самом деле.

Под тихий аккомпанемент этих неоднозначных мыслей Надежда Константиновна задремала и всю оставшуюся дорогу видела сновидения. Характер снов был весьма неопределенный. Сначала Надежда Константиновна видела красную точку на белом фоне, которая все расширялась и расплзалась, словно пятно, заполняя собой все пространство. Когда белого фона уже не осталось вовсе, красное полотно вдруг закипело и забулькало, чем дальше, тем интенсивнее. Неизвестно откуда, но Надежда Константиновна точно знала, что эта красная субстанция — кровь и ничто другое. Затем внимание старушки, как это часто бывает во снах, резко и без предупреждения изменило угол обзора, и она поняла: то, что она до сих пор видела, было не чем иным, как кастрюлей, стоявшей на газовой плитке.

В алюминиевой кастрюле по-прежнему кипела красная жижа, подогреваемая огнем очень странного черного цвета. Он быстро коптил блестящие бока грязноватой кастрюли, окрашивая ее в такой же непроницаемо черный, как само пламя, цвет.

Вдруг в поле зрения Надежды Константиновны появился человек. Лица его видно не было, но, судя по костюму и кепи на голове, это был мужчина. Из кармана он достал глубокую деревянную ложку и с лихвой зачерпнул из кастрюли красной жидкости. Поднеся её ко рту, он, видимо, снял пробу, после чего одобрительно закачал головой. Затем полез во внутренний карман пиджака и достал оттуда здоровенный подосиновик, на вид очень красивый, но от Надежды Константиновны не укрылся тот факт, что весь гриб покрыт червоточинами, а значит, внутри, однозначно, был изъеден червями. Дальше мужчина в кепи небрежным движением закинул гриб в кастрюлю и, не оглядываясь, зашагал прочь и уже через секунду пропал из поля зрения.

Не успела Надежда Константиновна удивиться произошедшему, как сразу в кадре появился еще

один человек. Его было видно отчетливо, и Надежда Константиновна сразу его узнала. Это был ее отец. Вот только у него были пышные усы, которых никогда не было при жизни, а одет он был в военную шинель и заправленные в сапоги галифе с красными лампасами. Отец подошел к плите и твердым жестом повернул рукоять подачи газа на максимум. Красная жидкость забурлила внутри кастрюли так сильно, что стала литься через край. Стекая по внешним стенкам кастрюли, густая жидкость очищала ее от толстого слоя черной копоти, который покрывал ее всю. Доходя до нижнего края, красная жидкость капала на конфорку и понемногу тушила черное пламя. Когда огонь совсем погас и жижа перестала кипеть, отец достал из кармана брюк хлопчатый платок и сильными движениями отер кастрюлю от запекшейся красной жижи. Кастрюля вновь стала блестящей даже лучше, чем была. Удовлетворенно кивнув, он достал курительную трубку и спички. Закурив трубку и, несколько раз с наслаждением выдохнув дым, не гася спичку, он поднес ее под кастрюлю. Тут же появилось пламя, которое на сей раз было привычного голубоватого цвета.

С минуту отец дымил трубкой и наблюдал за тем, как равномерно расходятся пузырьки по поверхности красной жидкости, лопаясь и выпуская горячие клубы пара. Затем он накрыл кастрюлю тяжелой на вид железной крышкой, непонятно откуда взявшейся у него в руках. Затем он повернулся лицом к Надежде Константиновне, улыбнулся ей, хитро сощурился, а затем, придерживая трубку, не спеша вышел за пределы ее видимости. В этот момент у Надежды Константиновны так нестерпимо защемило сердце, как будто она поняла, что больше никогда его не увидит.

— Отец, стой, не уходи! На кого ты меня оставляешь? Что делать мне теперь? Отец! Пастырь! Вождь! — взмолилась Надежда Константиновна, тщетно пытаясь повернуть взгляд вслед уходящему отцу.

К сожалению, сделать это не представлялось возможным, как бы ей этого ни хотелось. Горечь была так сильна, что затмила дальнейший сон, потому как Надежда Николаевна уже не могла, да и не хотела воспринимать ничего, кроме необъяснимой жалости к самой себе. Остальной сон она наблюдала словно издалека, без фокуса,

на самом краю периферии сознания. Один за другим там смеялись мужчины, которые ненадолго задерживались у плиты, каждый что-то добавлял в кастрюлю, снимал пробу, а затем уходил вслед за остальными. Впрочем, некоторые отличались экстравагантностью и творческим подходом. Один из таких, например, подойдя к плите, приподнял крышку, накидал внутрь кукурузы, а затем снял башмак с ноги и стал помешивать им красный бульон. Последним, кого увидела Надежда Константиновна, перед тем как сон оборвался, был невысокий мужчина в костюме, с обширной лысиной на голове. На этой лысине красовалось небольшое коричневое пятно. Старушке пришло на ум, что должно быть именно так и должна выглядеть печать зверя из библейских рассказов, которые ей рассказывала бабушка в детстве. Мужчина все ходил вокруг плиты, так и сяк двигал кастрюлю, а в самом конце, за секунду, как Надежду Константиновну разбудил проводник, он неосторожным движением опрокинул кастрюлю, и все ее содержимое выплеснулось ему на брюки.

От вокзала до дома старушка добралась, словно на автопилоте. В глубокой прострации. Про таких людей, замкнутых и отстраненных от реальности, сама Надежда Константиновна, будучи всегда сосредоточенной и настроенной к решительному действию, отзывалась нелестно. " Мешком пыльным с рождения осененный«, — именно так говорила она, про людей невнимательных, медлительных и нерешительных. А вот теперь и сама она, проплывала по улицам родного города, словно призрак, не поднимая глаз от асфальта, как будто вовсе не была причастна к людскому сообществу, представители которого отчаянно суетились и возились, устраивая свою жизнь сегодня согласно утвержденной партией повестке дня.

Пришла в себя Надежда Константиновна, уже находясь у порога деревянной двери, которая вела в подъезд многоквартирного дома, где она и проживала последний десяток лет. Чувство тревоги совсем ушло, оставив после себя внутреннюю пустоту и эмоциональную усталость. Поднимаясь по холодным бетонным ступеням на свой этаж, Надежда Константиновна

безразлично рассуждала на тему собственного внезапного помешательства:

— Совсем спятила на старости лет. Никогда бы не подумала, что доживу до такого.

Когда Надежда была молодой, она всегда беззлобно потешалась над стариками, а вот теперь сама стала неотличимой от них. И хотя кажется, что между теми неграмотными, «темными», стариками, которые застали еще царскую Россию, и ею, просвещенной и прогрессивной коммунисткой, не обремененной плесенными суевериями и мракобесием, — пропасть, оказалось, что их контуры мышления и поведения существенно ничем не отличаются от образа мыслей людей, живших еще при царе Горохе, да и от тех, что топтали землю гораздо раньше.

Как бы ни менялось, словно по волшебству, время и жизнь вокруг, люди все одно остаются верными однажды начертанным инструкциям, которые хранятся где-то глубоко в душе. А может, все потому, что на самом деле ни время, ни жизнь вокруг не меняются по-настоящему? И так нам только видится с того короткого отрезка пути, по которому нам удастся пробежать самим,

и на основании чего мы пытаемся судить обо всей дороге жизни, да еще по сомнительным рассказам рядом бегущих попутчиков.

Когда ты молод, ты не отдаешь себе отчета в том, что мир существовал до тебя. Нет, конечно, ты это твердо знаешь, но не веришь в это всерьез. Тебе кажется, что мир стал существовать ровно в тот момент, когда ты осознал себя как личность. И всё в этом новорожденном мире происходит в первый раз, и всему этому ты причина и такие, как ты. А тот мир, в котором живут твои родители, на самом деле не настоящий, параллельный и какой-то отжитой, словно сброшенная змеей кожа. А ты идешь по новому, доселе не существовавшему пути, и такого уже не повторится никогда. И, только становясь старше, однажды замечаешь, что вокруг появились новые люди. Они делают все то же, что делал ты сам в их возрасте, и точно так же снисходительно смотрят на тебя, словно ты уже не часть того нового мира, который до сего момента создавал. А внезапно ты оказался в чужом, который уже создают они, и эти самые они искренне не понимают, что вообще ты тут

делаешь и почему до сих пор не растворился в мутных водах истории.

Вот так, оказавшись на обочине жизни, ты сидишь и думаешь, во-первых, в какой момент ты перестал быть хозяином и создателем реальности, а стал лишь потребителем, временно проживающим на ее территории. Когда именно произошла подмена, и как ты мог это пропустить? А во-вторых, думаешь о том, что все это новое поколение ничем не отличается от твоего, и становится от этой мысли очень обидно. Ведь сразу же ты понимаешь, что и сам все это время не отличался от многих других поколений и не был никогда особенным и новым, как все это время себе воображал.

И тогда ты задаешься главным вопросом. А если человек не меняется, что вообще тогда может измениться вокруг него? Вот сегодня ты условно Надежда Константиновна и тысячу лет назад то же, и можно представить то же и в далеком будущем. Почему люди ждут чего-то от будущего, если оно есть наше прошлое. Конечно, понятно почему — потому что при ином раскладе совершенно незачем тогда влачить свое грешное существование. Но все равно непонятно и обидно.

И остается лишь говорить всем этим веселым и самоуверенным «новым» людям: «Вот доживете до моих лет, узнаете!» — при этом становясь все призрачнее и незначительнее в этом, уже трижды сменившем хозяев мире, никому не нужным балластом, плавающим где-то на его окраинах.

— Я когда-то была вами, и вы однажды все станете мною, — вслух пробубнила Надежда Константиновна, оказавшись перед дверью в квартиру, потом пошарила в кармане, достала ключ и дрожащими руками просунула его в замочную скважину.

Надежда Константиновна входит на порог и первое что делает — срывает отточенным за годы и доведенным до автоматизма движением календарный лист со стены. Шестое марта.

Побросав сумки прямо в коридоре, Надежда Константиновна с трудом сняла сапоги и неуверенно, чуть шатаясь, словно от головокружения, прошла на кухню. Тяжело рухнув на стул, старушка опустила голову на грудь и уставилась на свои сморщенные, скрюченные от болезни руки. С минуту понаблюдав за впадинами морщин, в большом

количестве покрывающих ее кисти, словно переплетения дорог в большом городе, она вновь погрузилась в воспоминания. Каждая такая магистраль — отметина прожитых лет и несет в себе память о ее жизни. Конечно, только для самой Надежды Константиновны. Но она не любит смотреть на свои старческие руки, суставы которых сразу начинают болеть чуть сильнее обычного. Да и вообще Надежда Константиновна больше привыкла смотреть в будущее, чем в прошлое. И хоть теперь это уже чье-то чужое будущее, а она лишь зритель, словно в кинотеатре, все равно будущее всегда представляется гораздо интереснее, перспективнее и лучше, чем упущенное из рук прошлое, от которого всегда неизменно попахивает горечью.

Переведя дух после долгого и беспокойного путешествия до дома, Надежда Константиновна тяжело выдохнула, махнула рукой куда-то в пустоту, отгоняя от себя таким образом весь этот вздор, который гнезвился в ее голове сегодня с самого утра, поднялась и, чтобы занять себя, принялась хозяйствовать по дому. Она даже включила старый радиоприемник, чтобы

отвлечься от собственных мыслей. Кстати сказать, включала она его крайне редко, только по праздникам или по другим важным событиям, потому что радио не любила — оно ассоциировалось у старушки с войной, с теми переживаниями и трагическими событиями, которые следовали всякий раз, когда в эфире раздавался голос Левитана. По радио что-то безостановочно говорили, иногда прерываясь на пение. Надежда Константиновна не вслушивалась, но болтовня создавала некий уют и, словно белый шум, успокаивала нервы. Она уже почти было достигла обычного уровня умиротворения, как вдруг эфир прервался, и на несколько секунд в комнате повисла тишина.

Надежда Константиновна насторожилась, потому что тишина казалась неестественно оглушающей. Даже часы, подумалось ей, перестали тикать. И когда уже старушка и впрямь была готова поверить в то, что перестала слышать, радио вдруг ожило и помещение наполнил раскатистый звук до боли знакомого глубокого голоса. Надежда Константиновна замерла на месте, словно заяц, почуявший опасность. Лицо ее напряглось, а взгляд стал беспорядочно перемещаться

по комнате. Она вся оборотилась в слух настолько, что, кажется, даже забывала дышать. Левитан глубоким, рокочущим голосом вещал в свойственной ему неторопливой манере, четко произнося каждое слово — так, чтобы ни у одного из слушателей не возникло никаких сомнений по поводу его обращения.

— Товарищи и друзья, Центральный Комитет Коммунистической партии Советского Союза, Совет министров СССР...

На сей раз «голос надежды» не предвещал ей, Надежде Константиновне, ничего ободряющего — это старушка поняла сразу.

— ..и Президиум Советов СССР с чувством великой скорби извещают партию и всех трудящихся Советского Союза...

Шанс на добрые вести испарился, а в душе стало нарастать чувство тревоги, которое почти было отступило, но теперь удушающим комом с новой силой подступило к горлу.

— ...что пятого марта в девять часов пятьдесят минут вечера после тяжелой болезни скончался Председатель Совета министров и секретарь

Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза — Иосиф Виссарионович Сталин.

Последняя фраза, подчеркнутая Левитаном деланными, многозначительными паузами, ударили громом, после чего внутри у бедной старушки что-то оборвалось. Ей даже показалось, что это оборвалось ее собственное сердце. Тонкие нити, удерживающие его в груди, лопнули под тяжестью непереносимой вести. И лучше бы так оно и было, ведь тогда ей было бы куда легче.

Невидящими глазами Надежда Константиновна обвела комнату; беззвучно хватала ртом воздух и шарила рукой в пустоте, пытаясь найти опору. Ее сильно повело в сторону, в глазах потемнело, и она уткнулась плечом в стену, по которой медленно сползла на пол. Тут дыхание ее наконец пробилось тяжелым, полным отчаяния стоном, вырвавшись из груди.

Надежда Константиновна рыдала и выла, содрогаясь мелко и крупно всем своим немощным телом. Она лежала на спине и била твердую поверхность пола кулаками с такой силой, что хрустели костяшки на пальцах. Горе ее было так

безызбывно и глубоко, что, казалось, абсолютно нереальным. Ничем нельзя было ранить старушку сильнее. Тем непереносимее было от внезапности, от неожиданности случившейся трагедии. Наверное, если бы солнце погасло на небе, Надежда Константиновна, была шокирована меньше. Потому как солнце на небе — далекое и равнодушное, а лик Вождя — грел и давал жизнь. Он всегда был тем единственным, незыблемым ориентиром, на который можно было равняться в этом непрестом и враждебно настроенном мире. Он всегда знал, как правильно поступать, и светом своего разума, словно маяком, рассеивал туман жизни на пятилетки вперед, освещая путь всем простым людям — всем трудящимся, таким, как Надежда Константиновна. Он давал хлеб насущный, хлеб духовный, а главное надежду на будущее. На светлое и счастливое — для каждого, кто готов был принять истину.

А теперь Его не стало. И казалось, ничего другого не стало разом тоже. И самой Надежды Константиновны не стало. Как будто Его воля была сутью, сосредоточением и якорем самого существования Надежды Константиновны.

И теперь, лишившись этого фактора, она просто развоплотится, расщепится на отдельные атомы и разлетится по вселенной. Так казалось от тотального чувства растерянности и опустошенности. И лишь горе, душевная боль удерживала сейчас Надежду Константиновну на этой грешной земле, в этой точке координат этой реальности, которая в один миг стала для нее такой чужой и бессмысленной.

Так продолжалось еще какое-то неисследимое количество времени. Может, час, а может, вся вечность успела обернуться до того момента, пока психическое напряжение не раскалило докрасна измученное сознание старушки, и природный предохранитель не прервал поток энергии, который генерировался на самой глубине личности Надежды Константиновны и изливался подобно вулкану на ее поверхность концентрированным страданием.

Надежда Константиновна так и лежала — на полу, тихонько похрапывая, время от времени беспокойно дергая конечностями. Лицо ее — бескровное, крайне измученное, приоткрытый рот, из уголка которого текла тягучая, густая слюна.

Так она и провела весь остаток дня, пробудившись лишь к вечеру, дезориентированная, с трудом приподнялась с пола на затекших конечностях. Воспоминания о случившемся нагрянули тут же, тяжелым похмельем осадив голову. Впрочем, кричать и биться в истерике уже не хотелось. У старушки на воспаленные глаза навернулись крупные слезы и быстро, маневрируя между морщинами, скатились по щекам.

— Ой, ой, ой, — только и вздохнула Надежда Константиновна. — Горе, горе-то какое. Не стало больше. На кого же ты нас? — в пустоту обратилась она.

Громко шаркая ногами, она тяжело уселась за кухонный стол и задумчиво уставилась перед собой, подперев щеку кулаком.

«Род приходит, и род уходит, а земля остается вовек», — думала Надежда Константиновна. " И Кесарь смертен«. Лучшие уходят раньше всех. Потому как раздают себя этому миру по кусочкам. В каждом их деле, каждом поступке на этой земле остается частичка собственной души, и со временем она расходуется совсем. И они рассеиваются в своем наследии и остаются жить

как идея, надежда и будущность. И вероятно, это лучшая участь, которую можно заслужить при жизни. Особенно, если память о тебе осталась хорошая. И есть, кому помянуть тебя добрым словом.

«А кто и что скажет про меня?» — задумалась Надежда Константиновна. «Вот сегодня, не стало Иосифа Виссарионовича — земля ему пухом, и сейчас наверняка по всей стране траур, и по всему миру это событие обсуждают. Товарищи — соболезнуют, вражины — злорадствуют, но все вспоминают и говорят. И говорить и вспоминать еще долго будут, а что будет, когда меня не станет?» — Надежда Константиновна представила, что скажут о ее кончине те немногие люди, которые знают о ее существовании. Соседи, которые узнают первыми и будут качать головами, думая о том, кого теперь ждать на смену старушке в эту квартиру и слегка переживать о том, не окажутся ли новые соседи хуже. Участковый терапевт, который удивится, узнав, что Надежда Константиновна умерла только сейчас, ведь он «похоронил» ее еще два года назад. Грузин Самвэл из мясной лавки качнет головой,

подкрутит ус и подумает об очевидном, когда Надежда Константиновна в который уже раз не придет за вырезкой по пятницам, как делала это все последние годы. Сторож Василий, с которым Надежда Константиновна иногда любила зацепиться языками — все потому, что он отдаленно напоминал ей покойного супруга. Пожалуй, что он даже вполне искренне расстроится — ведь старушка была одной из немногих, кто по-доброму относился к запойному мужичку. Возможно, кондуктор Евгений — прочитав некролог, поднимет бровь и вспомнит что-то из прошлого не столько о Надежде Константиновне, сколько о себе самом — молодом и наивном человеке. Пожалуй, все. Но все они абсолютно точно очень быстро забудут о ее существовании. А если и будут помнить, то как напоминание об одинокой старости и смерти в пустой квартире. И тогда Надежда Константиновна вернется туда, откуда однажды образовалась, образовалась на столь короткий миг, что и не имеет смысла даже считать эту мелочь. И станет она прахом, землю, из которой произойдут новые всходы, новый урожай, свежий хлеб, и там не раз еще будет и Надежда Константиновна, Сталин и социализм,

плохое и хорошее, светлое и темное, колбаса по три копейки и дефицитная водка. Может, это все будет по-другому называться, на других языках, но суть останется той же самой.

«Повидала я жизнь, в общем. И хлеб ваш будущий, едала уже», — Надежда Константиновна махнула рукой, вздохнула и вдруг вспомнила, что хлеба как раз дома и нет. Глянув на настенные часы, она подскочила как ошпаренная.

— Батюшки, булочная то скоро закроется. Расселась старая, ну и ну, — запричитала Надежда Константиновна и быстро засемила в коридор, сразу же позабыв о всех тягостных, неподъемных думках, которые только что наполняли ее голову. «Черного два, и булку белого, а масло? Черт его знает... вроде есть еще».

Громко пыхтя, натянула на ноги сапоги, сняла с крючка сетку, накинула пальто и уже готова была выбежать за дверь, но в последний момент остановилась у зеркала, увидев свое отражение. Из несколько пыльного отражения на нее смотрела еще совсем не старая, как ей показалось, женщина, которая еще пока все делает сама и не нуждается ни в чьей помощи. Женщина,

которая многое успела сделать за жизнь и еще кое-что наверняка успеет. У этой женщины чистая совесть, чистые мысли и чистая квартира, не обремененные и не запачканные никакими порочными интенциями или фактами. Над этой женщиной нет начальства, и спрос с нее нынче тоже не велик. Она живет так, как хочет, как велит ей сердце, не стесненное внутренними противоречиями. Она достаточно мудра, чтобы избежать старческой озлобленности, потому что знает этот мир и умеет его принимать, а главное принимать себя в нем. Женщина, которая имеет большое преимущество жизненного опыта, позволяющего ей оставаться спокойной сердцем в стремнине человеческих страстей. Она со снисхождением смотрит на этот мир, на глупых людей вокруг, на извечную пустую суету, которую они создают вокруг себя и от которой мучаются день и ночь. Она свободна, настолько, насколько это может позволить себе добросовестный гражданин. И единственно, чего ей сейчас не хватает, так это свежего, теплого, душистого хлеба, который заполнил бы не только пустую хлебницу на кухне, но и даровал моральное удовлетворение, исполнив пунктик хозяйственности, такой важный для ощущения

полноценности любой уважающей себя дамы того времени.

— А я еще все-таки хоть куда! — задорно сказала Надежда Константиновна, цокнув каблуком об пол. Затем еще пару секунд разглядывала себя в зеркало, наконец, по привычке махнула рукой и скоро выскочила за дверь. Спускаясь по ступеням, она одновременно обдумывала, стоит ли все-таки докупить масла, и прикидывала, насколько траурную мину стоит изобразить, если вдруг случится встретить знакомых на улице.